



МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

БЕЛАЯ ПТИЦА

Белая птица

Вирджиния Вулф
Миссис Дэллоуэй

«ЭКСМО»

1925

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Вулф В.

Миссис Дэллоуэй / В. Вулф — «Эксмо», 1925 — (Белая птица)

Вирджиния Вулф (1882–1941) – британская писательница, яркая представительница модернистского направления в литературе, входившая в знаменитый кружок Блумсбери, автор романов, ставших классикой "потока сознания". В её произведениях раскрывается история английского модернизма с его любовью к слову, его звучанию, смысловым оттенкам и ассоциациям. Она экспериментировала с потоком сознания и выделяла не только психологический, но и эмоциональный компонент в поведении главных героев. Романы Вулф устремлены к самой сердцевине жизни, к теплу и трепету, воздуху и свету и сообщают это острое чувство жизни читателю. «Миссис Дэллоуэй» – мастерский роман Вирджинии Вулф, в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются в один знаменательный день в июне 1923 года.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

© Вулф В., 1925

© Эксмо, 1925

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

27

Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй

© Целовальникова Д., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Миссис Дэллоуэй сказала, что цветы купит сама.

У Люси и так полно забот: двери с петель снимать, доставку из кондитерской Румпельмайера встречать. И потом, подумала Кларисса Дэллоуэй, утро выдалось дивное – свежее, будто созданное для отдыха на море с детьми.

Наверное, то же самое чувствует жаворонок, взмывая в небо. Какое раздолье! Давным-давно, в Бортоне Кларисса распахивала настежь стеклянные двустворчатые двери и вырывалась на свежий воздух, чувствуя примерно то же, что и сейчас. Ранним утром воздух прохладный, спокойный, гораздо спокойнее, чем в городе, конечно; как плеск воды, как поцелуй волны – студень и резкий, и все же упоительный, особенно для восемнадцатилетней девушки. Кларисса стояла в дверях и ждала: ей казалось, того и гляди произойдет невообразимое. Она смотрела на цветы, на деревья в дымке и на грачей, порхающих в кронах, стояла и смотрела, пока Питер Уолш не спросил: «Предаешься мечтам среди овощей?» Так ли он выразился? «Лично я предпочитаю людей, а не цветную капусту». Так ли?.. А может, это было за завтраком, на террасе? Питер Уолш вроде бы возвращается из Индии – то ли в июне, то ли в июле, точно Кларисса не помнила, потому что письма у него ужасно скучные; вспоминаешь скорее глаза и улыбку, перочинный нож, разные словечки, резкие замечания и – как странно, столько всего кануло в вечность – подобные фразы про капусту.

Кларисса помедлила на обочине, пропуская фургон Дартнолла. До чего очаровательна, подумал Скруп Первис (знакомый с ней, насколько могут быть знакомы соседи, живущие рядом в Вестминстере); похожа на птичку вроде сойки – сине-зеленая, подвижная, жизнерадостная, хотя самой уже за пятьдесят и после болезни изрядно поседела. Смотрит сверху вниз, как всегда, его не замечая, вся подобралась, ждет, когда можно будет перейти дорогу.

Прожив в Вестминстере – сколько уже? более двадцати лет – Кларисса полагала, что даже посреди уличного движения или ночью в постели поневоле ощущаешь особую торжественность, неописуемое затишье, тревожное ожидание перед тем, как Биг-Бен начинает бить. (Впрочем, виной тому может быть перенесенная инфлюэнца, давшая осложнение на сердце.) Ну вот, гудит! Сначала мелодично предупреждает, потом уверенно отбивает часы. По воздуху расходятся свинцовые круги. Какие мы глупцы, думала она, переходя Викторию-стрит. Лишь небесам ведомо, почему мы ее так любим, что мы в ней находим, выдумывая на ходу, выстраивая вокруг себя, опрокидывая и каждый миг создавая заново; точно так же делают даже самые последние замухрышки, понурые горемыки, что пьянствуют на ступеньках, упиваясь своим падением; с ними не справиться никакими указами парламента именно по этой причине: они любят жизнь. В глазах прохожих, в мерном движении, в топоте ног, в суতোлке; в шуме легковых автомобилей, омнибусов, грузовиков, в шарканье рекламных агентов со щитами на спине и на груди, в реве духовых оркестров, шарманок; в ликовании и звоне, в чужеродном высоком гуле аэроплана над головой было все то, что Кларисса так любила, – жизнь, Лондон, миг июньского утра.

Стояла середина июня. Война закончилась, хотя и не для всех: миссис Фокстрот сокрушалась вчера в посольстве, что тот славный мальчик погиб и старое поместье отойдет к его кузену; и леди Бексборо, говорят, открывала благотворительный базар с телеграммой в руке – Джон,

ее любимец, убит; но все кончено, слава небесам, кончено! Наступил июнь. Король с королевой вернулись во дворец. И повсюду, даже в столь ранний час, кипит жизнь, несутся вскачь лошади, стучат биты – вновь открыт крикетный стадион «Лордс», ипподром «Аскот», поло-клуб «Раненлаг» и прочие подобные заведения; серо-голубая утренняя дымка скоро развеется, по лужайкам и центральным площадкам заскачут лошади, едва касаясь передними копытами земли, закружат лихих наездников; смеющиеся девушки в прозрачных муслиновых платьях, протанцевавшие ночь напролет, выведут на прогулку вздорных мохнатых собачонок; и даже теперь, в этот ранний час, несутся по загадочным делам знатные пожилые леди в своих автомобилях; владельцы магазинчиков суетятся в витринах вокруг стразов и бриллиантов, прельщая американок дивными, цвета морской волны брошами в оправе под старину (нужно экономить, никаких опрометчивых подарков для Элизабет!), и сама Кларисса, питавшая ко всему этому пылкую и нелепую страсть, чувствовала себя частью этой жизни, ведь ее предки были придворными во времена правления Георгов и сегодня вечером она тоже собирается зажигать и блистать, потому что устраивает прием! До чего странно, войдя в парк, погрузиться в тишину, в дымку, в гул – медленно плавают довольные утки, несуразно переваливаясь, бродят зобастые пеликаны, а кто же шагает ей навстречу, возвышаясь на фоне здания министерства, как ему и подобает, и несет коробку для бумаг с королевским гербом, кто, как не Хью Уитбрэд, старый друг, неподражаемый Хью!

– С добрым утром, Кларисса! – воскликнул Хью с неуместной высокопарностью, ведь они знакомы с детства. – Какими судьбами?

– Обожаю гулять по Лондону, – призналась миссис Дэллоуэй. – Гораздо приятнее, чем за городом.

К сожалению, они приехали показаться докторам. Иные приезжают в Лондон посмотреть картины, послушать оперу, вывезти дочерей в свет, а Уитбрэды тут, чтобы «показаться докторам». Кларисса навещала Эвелин Уитбрэд в лечебнице бесчисленное множество раз. Неужели Эвелин снова больна? Эвелин немного расклеилась, сообщил Хью и доверительно качнулся всем своим мужественным, чрезвычайно красивым, упитанным и элегантно наряженным телом (он всегда одевается хорошо, даже слишком, видимо, непыльная должность при дворе обязывает), (как бы) намекая, что жена испытывает легкое недомогание, ничего серьезного, и Кларисса Дэллоуэй как давняя подруга должна бы догадаться сама, без лишних подробностей с его стороны. Ах да, конечно, какая досада, – откликнулась она, одновременно с сестринской заботой ощутив странную неловкость за свою шляпку. Наверное, не особо подходящий выбор для утренней прогулки. В присутствии Хью, который продолжал говорить, экстравагантно приподнимая шляпу и заверяя Клариссу, что она выглядит лет на восемнадцать, и он, разумеется, придет к ней сегодня, Эвелин настаивает, только немного задержится на приеме во дворце, куда нужно отвести одного из сыновей Джима, – Кларисса всегда терялась, чувствуя себя школьницей, и в то же время была к нему очень привязана, отчасти потому, что знала Хью целую вечность, отчасти потому, что считала его по-своему милым, хотя Ричарда он бесил до невозможности, а что до Питера Уолша, так тот до сих пор не простил ее за то, что Хью ей нравился.

Она вспомнила сцены, которые Питер закатывал ей в Бордоне; Хью, конечно, ему не соперник, однако не такой уж набитый дурак, какимставлял его Питер, и вовсе не напыщенный болван. Когда престарелая мать хотела, чтобы он отказался от охоты или отвез ее на курорт в Бат, он подчинился без единого слова – эгоистом он не был, а утверждения ее дорогого Питера, что у Хью нет ни сердца, ни мозгов, лишь манеры и воспитание английского джентльмена, выставляют его самого не в лучшем свете; конечно, порой Хью просто невыносим, зато с ним приятно прогуляться погожим летним утром.

(Июньская листва буйно зеленела. В Пимлико матери кормили грудью своих младенцев. В адмиралтейство поступали депеши с флота. Казалось, Арлингтон-стрит и Пикадилли

заряжают самый воздух парка упоительной энергией, которую Кларисса так любила, и каждый листок трепещет и поблескивает на его горячих, живительных волнах. Когда-то она обожала и танцевать, и кататься верхом.)

Хотя они с Питером расстались сто лет назад и она никогда ему не писала, а его письма были сухими, как пожухлая листва, порой Кларисса задумывалась: что сказал бы Питер, будь он рядом? Временами он всплывал в ее памяти – спокойно, без прежней горечи – пожалуй, такова награда за былую привязанность; вот и сейчас, прекрасным летним утром, они нахлынули посреди парка Сент-Джеймс. Впрочем, каким бы чудесным ни был день, и деревья, и трава, и маленькая девочка в розовом, Питер ничего этого не замечал. Если бы Кларисса ему сказала, он надел бы очки и посмотрел. Его интересовало положение дел в мире, музыка Вагнера, поэзия Поупа, человеческая натура в общем и недостатки души Клариссы в частности. Как он ее честил! Как яростно они спорили! Ей впору выйти замуж за премьер-министра и встречать гостей, стоя на верху лестницы, – образцовая хозяйка, вот как Питер ее обозвал (после этого Кларисса плакала у себя в спальне), у нее есть все задатки образцовой хозяйки.

И вот она идет по Сент-Джеймскому парку, продолжая тот самый спор и доказывая себе, что правильно – конечно, правильно! – не вышла замуж за Питера. Ведь между людьми, живущими в браке день за днем, в одном доме должно быть хоть немного свободы, хоть немного независимости, которую дает ей Ричард, а она – ему. (К примеру, куда он отправился сегодня утром? В какой-то комитет, в подробности она никогда не вникала.) С Питером же приходилось делиться абсолютно всем, он вникал во все. И это было настолько невыносимо, что во время сцены у фонтана Клариссе пришлось с ним порвать, иначе они погибли бы оба, она уверена, уничтожили бы друг друга. Впрочем, эту острую стрелу в сердце она носила еще много лет, сама не своя от тоски и горя, а потом ужаснулась, когда на каком-то концерте узнала, что Питер женился на женщине, которую встретил во время плавания в Индию. Такого забывать нельзя! Он назвал ее холодной, бессердечной недотрогой. И никогда-то она не понимала его чувств! Зато их отлично поняли те простушки на пароходе – пустоголовые смазливые дурынды. И незачем его жалеть! Он вполне счастлив, заверил Питер, абсолютно счастлив, хотя и не добился ничего, о чем они столько говорили в юности, – жизнь совершенно не удалась. Злости на него не хватает!

Она дошла до ворот парка и немного постояла, разглядывая омнибусы на Пикадилли.

Теперь она ни о ком не судила бы, что он такой или эдакий. Кларисса чувствовала себя совсем юной и в то же время чудовищно старой. Она вонзалась в городскую суету, словно нож, и в то же время взирала на происходящее как бы со стороны. Наблюдая за лондонскими такси, она ощущала себя выпавшей из жизни и такой одинокой, словно находится в открытом море; ей всегда казалось, что прожить хотя бы день – очень, очень рискованно. Она не особо умна, в ней нет ничего выдающегося. И как только ей удалось пройти по жизни с теми крупными знаниями, которыми снабдила своих учениц фрейлин Дэниелс? Кларисса не знает ни иностранных языков, ни истории, редко берет в руки книгу, разве что мемуары перед сном, тем не менее вся эта круговерть ее совершенно поглощает; она больше не скажет ни про Питера, ни про себя, что он – такой, а она – эдакая.

Единственный ее талант – распознавать окружающих почти интуитивно, на ходу размышляла Кларисса. Очутившись в одной комнате с посторонним, она, подобно кошке, выгнет спину или замурлычет. Девоншир-хаус, особняк графа Девонширского, Бат-хаус, резиденция барона Эшбертона, особняк с фарфоровым какаду в окне – когда-то в них горел яркий свет, и она вспомнила Сильвию, Фреда, Сэлли Сетон – такая уйма народу! – и танцы до утра, и едущие спозаранку на рынок груженные фургоны, и возвращение домой через Гайд-парк. Кларисса вспомнила, как однажды бросила шиллинг в озеро Серпентин, но к чему вспоминать – это может делать кто угодно! Она любила то, что видела здесь и сейчас, даже тучную леди в наемном экипаже. Разве имеет значение, думала Кларисса, направляясь к Бонд-стрит, разве

имеет значение, что придется исчезнуть без следа, что все это уцелеет, а ее не станет? Возмущает ее или утешает, что со смертью все закончится? На лондонских улицах все меняется, все течет, и в том или ином виде она продолжит свое существование, и Питер тоже, ведь они живут друг в друге, и отчасти в деревьях возле старого, осыпающегося родительского дома; отчасти в людях, которых даже не знают; вьются дымкой вокруг тех, кого прекрасно знают, и те вздымают их своими ветвями все выше и выше, словно деревья туман, разгоняя все дальше и дальше, как растекается и ее жизнь, и она сама... О чем же она замечталась, глядя в витрину книжного «Хэтчердс»? Что пытается вспомнить? Что за образ холодного рассвета в сельской глуши видит Кларисса, читая в открытой книге:

Не страшись ни палящего зноя,
Ни яростной зимней стужи...¹

Недавняя эпоха мировых потрясений открыла в них всех, и в мужчинах, и в женщинах, неиссякаемый источник слез и горя, мужества и выдержки, твердости духа и стойкости. Взять, к примеру, женщину, которой Кларисса особенно восхищается, – леди Бексборо.

В витрине лежат «Прогулки и забавы Джоррока», «Похождения мистера Губки» Р. С. Сертиса, «Мемуары» миссис Асквит и «Охота на крупную дичь в Нигерии» – все раскрытые. Так много книг, и ни одна не годится вполне, чтобы захватить в лечебницу для Эвелин Уитбред. Ничего, что могло бы развлечь эту маленькую увядшую женщину, заставить ее глаза радостно вспыхнуть при виде Клариссы, пока они не завели бесконечный разговор о женских недомоганиях. Чудесно ведь, подумала Кларисса, что люди радуются, когда тыходишь в комнату, свернула за угол и зашагала обратно к Бонд-стрит, досадуя, что некоторые вечно все усложняют. Хорошо живет Ричарду, который всегда поступает по своему усмотрению, в то время как ей, думала Кларисса, стоя на переходе, в доброй половине случаев приходится действовать с оглядкой, надеясь на ту или иную реакцию окружающих – полный идиотизм, она и сама сознает (наконец полицейский поднял руку), ведь никого-то этим ни на миг не проведешь. Вот бы начать жизнь заново, подумала она, ступая на тротуар, вот бы даже выглядеть иначе!

Клариссе ужасно хотелось быть темноволосой, как леди Бексборо, с тонкой, мягкой кожей и красивыми глазами. Она стала бы медленной и величавой, разбиралась бы в политике как мужчина, жила бы в загородном доме, донельзя почтенная и прямодушная. Вместо этого Клариссе досталась узкая, как стручок, фигурка и нелепая мордашка с носом, напоминающим птичий клюв. Правда, держаться она умела, руки и ноги у нее были изящные, одевалась она со вкусом, хотя и недорого. Но часто собственное тело (она остановилась поглядеть на голландскую картину), при всех его достоинствах, казалось ей ничем – буквально ничем! Порой у Клариссы возникало странное чувство, что ее никто не видит, никто не замечает, никто не знает; что в жизни больше нет места ни замужеству, ни детям, лишь этому мрачному шествию вместе со всеми – по Бонд-стрит шагает некая миссис Дэллоуэй, даже не Кларисса, просто миссис Ричард Дэллоуэй.

Бонд-стрит ее завораживала, особенно ранним утром – реющие на ветру флаги, магазины обставлены скромно, но со вкусом – рулон твида в витрине ателье, где отец заказывал костюмы пятьдесят лет кряду; пара ниток жемчуга, лосось на льду.

– Вот и все, – проговорила она, глядя на витрину торговца рыбой. – Вот и все, – повторила она, помедлив у магазина, где до войны продавались прекрасные перчатки. Дядюшка Уильям любил повторять, что леди можно узнать по туфлям и перчаткам. Однажды утром, в разгар войны, он отвернулся к стене и сказал: «С меня хватит!» Перчатки и туфли – Кларисса их обожала, а ее собственная дочь Элизабет подобные мелочи ни в грош не ставит.

¹ У. Шекспир. «Цимбелин». Акт IV, сцена 2.

Ни в грош, подумала она, идя по Бонд-стрит к магазинчику, где покупала цветы для своих приемов. Гораздо больше Элизабет заботит ее собака. Весь дом дегтем пропах. Хотя уж лучше бедняга Гризли, чем мисс Килман! Лучше терпеть собачью чумку и деготь, чем сидеть с молитвенником в душной спальне, как в клетке! Все лучше, чем это, думала Кларисса, однако Ричард считает, что подобную фазу переживают все девочки. Может, просто влюбилась. Но почему именно в мисс Килман?! Разумеется, бедняжке пришлось несладко, и Ричард говорит, что та очень способная – с ее складом ума впору быть историком. В любом случае теперь они неразлучны, и Элизабет, ее собственная дочь, ходит к причастию; а как стала одеваться, как небрежно обращается с гостями Клариссы; похоже, религиозный экстаз делает людей бестактными, притупляет чувства: ради русских мисс Килман пойдет на все, ради австрийцев готова уморить себя голодом, но терпеть ее в домашней обстановке – настоящая пытка, что за невыносимая особа в своем вечном макинтоше! Носит его год за годом, потеет; уже после пяти минут рядом ощущаешь ее превосходство и собственную неполноценность, ведь она бедная, а ты богатая; она живет в трущобах и спит чуть ли не на голом полу, вся душа проржавела от давних обид – в годы войны ей пришлось бросить школу – что за несчастное, озлобленное создание! Кларисса ненавидела вовсе не ее, а то, что она воплощала, вобрав в себя многое, чего не было в самой мисс Килман; некий фантом, с которым сражаешься в ночных кошмарах; подобные ей агрессоры и мучители стоят над тобой и высасывают жизненные соки. Несомненно, при ином раскладе Кларисса, может, и полюбила бы ее, только не в этой жизни!

Клариссу раздражало, что в лесной чаще ее души ворочается свирепое чудовище – ломает ветки, взрывает копытами палую листву; она больше не знала ни радости, ни покоя, потому что в любой миг могла пробудиться эта тварь – ненависть, которая за время болезни набралась сил и терзала ее, отдавалась болью в позвоночнике, доставляла буквально физические страдания и мешала наслаждаться красотой, дружбой, хорошим самочувствием, любовью и домашним уютom, заставляя благоденствие Клариссы шататься, дрожать и крениться, словно корни подрывает чудовище, словно его пышная крона – не более, чем бахвальство. Ох уж эта ненависть!

«Вздor, вздор!» – вскричала она про себя, толкая двойные двери в цветочный магазин «Малберриз».

Кларисса вошла – высокая, худая, с очень прямой спиной, и к ней тут же радостно подлетела мисс Пим – женщина с плоским невыразительным лицом и ярко-красными руками, словно вечно держит их в холодной воде вместе с цветами.

Дельфиниум, душистый горошек, охупки сирени и гвоздики – уйма гвоздик. И розы, и ирисы. Кларисса вдыхала дивный аромат влажного сада, разговаривая с мисс Пим, которая многим ей обязана и считает ее доброй, очень доброй; такой Кларисса была и раньше, но в этом году постарела... Она переводила взгляд с ирисов на розы, кивала гроздьям сирени; опустила веки, наслаждаясь восхитительным запахом и прелестной прохладой после шумной улицы. А потом, открыв глаза, поразилась, как свежи розы – словно белье с оборками, доставленное из прачечной в неглубоких корзинках из ивовых прутьев; темно-красные гвоздики держатся чопорно, гордо задрав головки; душистый горошек раскинулся в вазах, расправив фиолетовые, белоснежные и бледные цветки – словно наступил вечер, и девушки в кисейных платьях вышли нарвать душистого горошка и роз в конце великолепного летнего дня с его чернильно-синим небом, дельфиниумами, гвоздиками, каллами; и время уже между шестью и семью часами, когда каждый цветок – розы, гвоздики, ирисы, сирень – буквально светится белым, фиолетовым, красным, ярко-оранжевым; каждый цветок на влажных клумбах словно горит изнутри – мягким, чистым светом... О, как Кларисса любила светло-серых мотыльков, кружащих над гелиотропами, над вечерними примулами!

Переходя с мисс Пим от вазона к вазону и выбирая, Кларисса твердила «Вздor, вздор!» уже мягче, словно вся эта красота, запах, цвет, привязанность и доверие мисс Пим – волна,

которая ее захлестнула и смела всю ненависть, смела напрочь, приподняла и... И вдруг снаружи раздался выстрел!

– Будь неладны эти авто! – в сердцах воскликнула мисс Пим, выглянула в окно и вернулась с охапкой душистого горошка, смущенно улыбаясь, словно автомобили, издающие резкие звуки, – ее вина.

Виновником оглушительного взрыва, заставившего миссис Дэллоуэй подпрыгнуть, а мисс Пим выглядывать в окно и извиняться, был автомобиль, свернувший к тротуару в аккурат возле витрины «Малберриз». Прохожие, конечно, остановились и принялись глазеть, но успели заметить лишь чрезвычайно важную физиономию на фоне серо-голубой обивки и мужскую руку, задернувшую шторку, – больше смотреть было не на что.

И все же с середины Бонд-стрит мигом понеслись слухи – до Оксфорд-стрит в одну сторону, до парфюмерной лавки Аткинсона в другую – невидимые, невнятные, словно стремительное и легкое облако обволокло окрестные холмы, опустилось внезапным спокойствием и безмолвием на лица, за миг до того совершенно суматошные. Теперь их коснулась своим крылом тайна, они услышали голос власти, повеяло монаршим духом. Впрочем, никто не знал, чье лицо промелькнуло – то ли принца Уэльского, то ли королевы, то ли премьер-министра. Кто это был? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткисс со свернутой в кольцо свинцовой трубой на руке довольно громко заметил, разумеется, в шутку:

– Авто небось премьерское!

Его услышал Септимус Уоррен Смит, которому Уоткисс загородил дорогу.

Септимусу Уоррену Смиту было под тридцать, лицо бледное, нос похож на птичий клюв, одет в коричневые ботинки и потрепанный плащ, в карих глазах – тревога, от которой даже незнакомые люди тревожатся в ответ. Мир уже занес свою плеть – куда она опустится?

Улица замерла. Двигатели стучали, словно неровный пульс, сотрясающий все тело. Автомобиль стоял ровно напротив витрины «Малберриз», солнце палило вовсю, старушки наверху омнибусов укрылись за черными зонтиками; с легким щелчком раскрывался то зеленый, то красный зонт. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка прильнула к стеклу, недоуменно поджав розовое личико. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки соскочили с велосипедов. На дороге образовался затор. А посреди всего этого – автомобиль с задернутыми шторками, на которых виднелся любопытный рисунок, похожий на дерево, подумал Септимус, и постепенное сведение всех предметов воедино наполнило его ужасом, словно на поверхность поднималось нечто жуткое. Мир задрожал, искривился, готовясь полыхнуть огнем. «Я всем загораживаю дорогу», – сообразил Септимус. Не на него все смотрят и тычут пальцем; не его ли умышленно остановили, приковали к тротуару с непонятной целью? Но зачем?

– Пошли, Септимус, – поторопила жена, миниатюрная итальянка с большими глазами на желтоватом заостренном личике.

Впрочем, Лукреция тоже не могла оторваться от автомобиля с деревьями на шторках. Вдруг там сама королева – королева выехала за покупками?

Шофер открыл капот, что-то повернул, захлопнул крышку и снова сел за руль.

– Пошли, – повторила Лукреция.

Муж, с которым она прожила уже четыре, нет, пять лет, подскочил, вздрогнул и воскликнул: «Иду!», словно она оторвала его от чего-то важного.

Люди обязательно заметят, люди обязательно увидят. Люди, думала она, глядя на толпу, глазеющую на автомобиль, эти английские люди со своими детьми, лошадьми и нарядами, которыми Лукреция отчасти восхищалась. Сейчас это были просто «люди», потому что Септимус сказал: «Я себя убью» – разве не ужасно говорить такое? А вдруг услышат? Она огля-

дела толпу. «Помогите, помогите! – хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. – Помогите!» Еще осенью они с мужем стояли на набережной, завернувшись в один плащ на двоих; Септимус читал газету, Лукреция выхватила ее и рассмеялась в лицо старику, уставившемуся на них! Увы, несчастье приходится скрывать. Нужно увести его в какой-нибудь парк.

– Давай перейдем, – предложила она.

Право на безвольную руку Септимуса у нее осталось, хотя Лукреция подобного явно не заслуживала: юная, всего двадцать четыре года, наивная и порывистая – в Англии совсем одна, уехала из Италии только ради него.

Автомобиль с задернутыми шторками направился к Пикадилли с видом непроницаемой сдержанности, сопровождаемый любопытными взглядами с обеих сторон улицы и все тем же дуновением глубокого почтения то ли к королеве, то ли к принцу, то ли к премьер-министру – наверняка не знал никто. Лицо загадочной особы узрело от силы человека три, да и то лишь на пару секунд. Неизвестно даже, мужчина то или женщина. Однако ни малейшего сомнения в величии пассажира не возникло – по Бонд-стрит проехал небожитель, причем буквально на расстоянии вытянутой руки от простых смертных, впервые в жизни очутившихся в пределах слышимости от его королевского величества, долговечного символа государства, которое будет известно пытливым любителям древностей, скрупулезно просеивающим руины былых веков, когда Лондон зарастет травой и все прохожие, спешащие по тротуару этим июньским утром, превратятся в груды костей с примесью редких обручальных колец и бесчисленных золотых коронок с прогнивших зубов. Даже тогда лицо в автомобиле не изгладится из памяти человечества.

Наверное, королева, подумала миссис Дэллоуэй, выходя с цветами из «Малберриз», королева. И приняла исполненный чрезвычайного достоинства вид, глядя на проезжающий автомобиль с задернутыми шторками. Королева едет в больницу, королева открывает благотворительный базар, думала Кларисса, стоя в солнечных лучах у цветочного магазина.

Для раннего тура толчея стояла страшная. «Лордс», «Аскот», «Херлингэм»? – гадала она, потому что улица встала. В подобный день британцы среднего класса, сидящие наверху омнибусов со свертками и зонтиками, некоторые даже в мехах, выглядят невообразимо нелепо, и сама королева застряла, королева не может проехать. Клариссе пришлось остановиться на одной стороне Брук-стрит, старому судье сэру Джону Бакхерсту – на другой, а между ними застыл автомобиль (сэр Джон много лет представлял закон и любил хорошо одетых женщин), и тут шофер, слегка склонившись, что-то проговорил, что-то показал полицейскому, и тот отдал честь, поднял руку, мотнул головой в сторону обочины, убирая омнибус с пути и давая автомобилю проехать, медленно и в полной тишине.

Кларисса догадалась, конечно, Кларисса все поняла: она заметила в руке шофера белый круглый диск, на котором написано имя (королевы, принца Уэльского, премьер-министра?), силой собственного блеска прожигающее себе путь (автомобиль уменьшался в размерах, исчезал у Клариссы на глазах), чтобы вечером сиять в Букингемском дворце среди канделябров, орденов, медалей, Хью Уитбрета и всех его сослуживцев, знатных англичан. Сегодня Кларисса тоже устраивает прием. Она слегка подобралась; значит, стоять ей наверху лестницы и встречать гостей.

Автомобиль уехал, оставив на Бонд-стрит легкую рябь, которая всколыхнула магазины перчаток и шляп, ателье по пошиву одежды. Все головы повернулись в сторону окна. Леди, выбиравшие перчатки – до локтя или выше, лимонные или серые? – замерли на середине фразы: что-то произошло. Причем настолько мизерное, что ни один прибор, способный уловить подземные толчки в далеком Китае, не смог бы зафиксировать колебание; при этом довольно внушительное по своей полноте и апеллирующее к лучшим чувствам, поскольку во всех шляпных магазинчиках и ателье незнакомые друг с другом люди обменялись взглядами

и вспомнили о павших, о флаге, об Империи. В пивной на глухой улочке уроженец Колонии помянул Виндзоров недобрым словом, что вылилось в перепалку, битье стаканов и всеобщую потасовку, резанувшую тонкий слух девушек, покупавших к свадьбе белоснежное белье с белыми же лентами. Поверхностный ажиотаж, вызванный автомобилем, не исчез без следа – он задел некие глубинные струны.

Проехав по Пикадилли, автомобиль повернул на Сент-Джеймс-стрит. Высокие, крепкого телосложения мужчины во фраках, белых галстуках, с зачесанными волосами, которые по непонятной причине стояли в эркере «Брукса», заложив руки за фалды, и глазели, инстинктивно поняли, что мимо проезжает особа величественная, и на них упал бледный отсвет бес-смертия, как чуть раньше на Клариссу Дэллоуэй. Они вмиг подтянулись, убрали руки и выразили готовность последовать за своим сюзереном, если потребуется, в огонь и в воду, как некогда их предки. Белые бюсты и столики в глубине, номера «Тэтлера» и сифоны с содовой их вроде бы одобряли, навевая мысли о тучных нивах и английских поместьях, и отражали тихий гул мотора, как стены шепчущей галереи возвращают возглас, усиленный мощью собора. Закутанная в шаль Молл Прэт, торгующая цветами на улице, пожелала милому мальчику всего наилучшего (наверняка сам принц Уэльский!) и собралась швырнуть ему вслед букет роз – почитай, стоивший целую уйму пива – прямо на тротуар Джеймс-стрит из чистой прихоти и презрения к нищете, но поймала взгляд констебля, начисто отбивший у старой ирландки желание выразить народное ликование. Часовые у Сент-Джеймса отдали честь, полицейский у мемориала королевы Александры последовал их примеру.

Тем временем у ворот Букингемского дворца выросла небольшая толпа. Собрались в основном бедняки – они ждали апатично, но уверенно, глаза на реющий флаг, на памятник королеве Виктории на высоком пьедестале, восхищались резными уступами, геранями, всматривались то в один, то в другой автомобиль, катящийся по церемониальной аллее Мэлл, напрасно умилялись при виде простолудинов, отправившихся прокатиться, и сдерживали чувства, сохраняя их для объекта более достойного; и кровь их бурлила от слухов, чресла трепетали при мысли о том, что их удостоит взглядом монаршая особа, – королева кивнет, принц козырнет; при мысли о божественной сущности власти, о шталмейстере и глубоких реверансах, о кукольном домике королевы, о принцессе Мэри, вышедшей замуж за англичанина, о принце – ах, принц! – который удивительно похож на старого короля Эдварда, только куда стройнее. Хотя принц живет в Сент-Джеймсе, он вполне может навестить с утра свою матушку.

Так сказала Сара Блетчли, покачивая ребенка и упираясь ногой в ограду, словно в свою каминную решетку в Пимлико, и не сводя глаз с аллеи Мэлл, а Эмили Коутс окинула взглядом дворцовые окна и замечталась о горничных, бесчисленных горничных, о спальнях, бесчисленных спальнях. Тем временем толпа росла – подошел пожилой джентльмен со скотч-терьером, потом какие-то праздные зеваки. Маленький мистер Боули, квартировавший в «Олбани», давно замкнулся в своей скорлупе, отгородившись от глубинных жизненных источников, и все же порой его охватывали совершенно неуместные сентиментальные порывы – бедные женщины, надеются увидеть, как мимо пройдет королева – бедные женщины, милые детки, сироты, вдовы, война – ай-яй-яй, – и на глаза его наворачивались слезы. Теплый ветерок, гулявший по церемониальной аллее между тонких молодых деревьев, между бронзовых героев всколыхнул гордость за державу в британской груди мистера Боули, и при виде автомобиля, свернувшего на Мэлл, он приветственно поднял шляпу и стоял очень прямо в толпе бедных матерей из Пимлико. Автомобиль приближался.

Внезапно миссис Коутс посмотрела в небо. В уши зловеще вонзился шум аэроплана. Вот он летит над деревьями, выпуская белый дым, тот перекручивается и складывается в буквы! Да он же пишет на небе! Все задрали головы.

Резко снизившись, аэроплан взмыл вверх, заложил петлю, разогнался, нырнул, поднялся – и куда бы он ни летел, следом струился густой белый дым, который закручивался и сплетался

в буквы прямо в небе. Что же это за буквы? Вроде бы Г или Т, потом Р или О... На миг они застывали неподвижно, затем смещались и таяли в небе, аэроплан двигался дальше, петлял снова и снова, выводя на чистом участке Т, Р и О.

– «Гракс», – заявила миссис Коутс напряженным, благоговейным голосом, глядя прямо в небо, и младенец у нее на руках, застывший и бледный, тоже смотрел вверх.

– «Тремо», – пробормотала миссис Блетчли словно сомнамбула. Держа шляпу в вытянутой руке, мистер Боули не отрываясь смотрел вверх. По всей аллее Мэлл люди стояли и молча глядели в небо. Одна за другой пролетели две чайки, и в этой необычайной тишине и покое, в чистоте и неподвижности часы на башне пробили одиннадцать раз, и звук затих в вышине, среди чаек.

Аэроплан развернулся, набрал скорость и спикировал легко, свободно, словно конькобежец...

– Похоже на Ф, – заметила миссис Блетчли.

... или словно танцор.

– Тоффи, – пробормотал мистер Боули.

И тут в дворцовые ворота въехал никем не замеченный автомобиль, а аэроплан перекрыл дымную струю и понесся прочь, оставив за собой тающие обрывки букв.

Он исчез, скрылся. Шум стих. Облака, к которым прибило буквы Т, С или О, плыли по небу, словно их отправили с запада на восток с тайной миссией чрезвычайной важности, о коей никто никогда не узнает, но важность ее очевидна. И вдруг, как поезд из тоннеля, аэроплан вырвался из облаков, пронзая слух собравшихся на аллее Мэлл, в Грин-парке, на Пикадилли, на Риджентс-стрит, в Риджентс-парке, и за ним вилась струя дыма, выписывая букву за буквой – но что же он писал?

Лукреция Уоррен Смит, сидевшая на скамейке рядом с мужем на главной аллее Риджентс-парка, посмотрела в небо.

– Гляди, Септимус! – вскричала она, поскольку доктор Холмс велел заставлять мужа (ничего с ним серьезного нет, просто хандрит) интересоваться окружающим миром.

Ну вот, подумал Септимус, поднимая взгляд, мне подаются сигналы. Слов он разобрать пока не мог, но все и так ясно – красота, изумительная красота, и глаза его наполнились слезами; он смотрел на тающие в небе дымные слова, сочащиеся неиссякаемой благодатью и весельем, принимающие невообразимо прекрасные формы и обещающие снабдить его даром и навсегда, просто за то, что смотрит в небо, красотой, еще большей красотой! По щекам Септимуса побежали слезы.

Тоффи, это рекламируют тоффи, сказала нянька Лукреции. Вместе они начали называть буквы – Т, О, Ф...

– Т, Р-р... – произнесла нянька, и глубокий, мягкий голос, словно звучный орган с хрипылыми, шершавыми нотками, напоминающими стрекот кузнечика, прозвучал у самого уха Септимуса, прошуршал по позвоночнику восхитительным трепетом, отозвался в мозгу волнами звука, слегка его оглушив. До чего удивителен человеческий голос – при определенных атмосферных условиях (научная точность превыше всего) способен пробуждать к жизни деревья! К счастью, Лукреция положила руку ему на колено, буквально придавив, пригвоздив к месту, иначе восторг при виде колышущихся на ветру вязов, расцвеченной солнцем листвы, переливающейся от синего к зеленому, словно полая волна, словно плюмажи на лошадиных головах, словно перья на шляпках леди – так гордо, так великолепно – свел бы его с ума. Нет уж, с ума он не сойдет. Септимус зажмурится, чтобы не смотреть.

Листва манила – она была живая. Листья, соединенные мириадами волокон с телом Септимуса, сидящим на скамейке, вздымали его вверх-вниз; когда ветка вытягивалась, рука тоже тянулась следом. Порхавшие в неровных струях фонтана воробьи были частью общего узора – бело-синего, окаймленного черными ветвями. Звуки сливались в замысел, промежутки между

ними представлялись не менее важными, чем сами звуки. Заплакал ребенок. Взревел клаксон. Все вместе означало рождение новой религии...

– Септимус! – окликнула Лукреция. Он испуганно вздрогнул. Люди все замечают. – Я прогуляюсь до фонтана и обратно.

Ей этого не вынести! Доктор Холмс считает, что ничего страшного не происходит. Лучше бы Септимус умер! Невыносимо сидеть рядом, когда он смотрит в никуда, не замечает ее и все портит – небо и дерево, детишки играют, тянут тележки, дудят в свистки, падают – все просто ужасно! Он не убьет себя, и она не признается никому. «Септимус слишком много работает» – вот и все, что она говорит матери. Любовь делает тебя одиноким, подумала Лукреция. Она не могла признаться никому, даже Септимусу, который сидел на скамье в потрепанном плаще, сгорбившись и глядя в никуда. Конечно, заявлять о том, что наложишь на себя руки, – трусость, однако Септимус сражался, был храбрецом... Не то что теперь. Она надела кружевной воротничок и новую шляпку, а он даже не заметил! И вполне счастлив без нее. Разве она может быть счастлива без него? Нет! Эгоист, как и все мужчины. Ведь у него ничего не болит! Доктор Холмс сказал, что муж вполне здоров. Лукреция растопырила пальцы. Ну вот, обручальное кольцо болтается – руки похудели. Она страдает, и поделиться не с кем.

Италия далеко, как и белые домики и комната, где она с сестрами мастерила шляпы; по вечерам на улицах людно – все гуляют, громко смеются, не то что эти полуживые англичане, скрючившиеся в инвалидных колясках и глядящие на уродливые цветы, понатыканные в горшки!

– Видели бы вы, какие сады в Милане! – воскликнула она, обращаясь неизвестно к кому.

Вокруг не было никого. Слова Лукреции погасли, как шутиха. Искры, прожегшие ночь, покоряются ей, темнота снисходит, обхватывает контуры домов и башен; мрачные склоны гор смягчаются и тонут во тьме. Хотя они сгнули, ночь ими полна – лишившись цвета, утратив окна, они становятся более громоздкими, выдают то, что откровенный дневной свет передать не способен – скорбь и тревогу вещей, сгрудившихся в темноте, жаждущих облегчения, которое приносит рассвет, омывая стены белым и серым, обозначая стекла и рамы, поднимая дымку с полей, освещающая мирно пасущихся рыже-коричневых коров, возвращая взору этот мир еще раз. «Я – одна, я – одна!» – вскричала Лукреция у фонтана в Риджентс-парке (установившись на индийца и его крест), как в полночь, когда теряются все очертания и страна принимает свой древний облик – такой ее увидели римляне, высадившиеся на туманные берега, и у гор еще не было имен, а реки текли неизвестно куда – такая тьма царила в ее душе, и вдруг словно из ниоткуда возник уступ, на который Лукреция шагнула и сказала себе, что Септимус ее муж, что она вышла за него в Милане много лет назад и никогда, никогда и никому не расскажет, что он сошел с ума! Внезапно уступ обвалился, и она полетела вниз, вниз. Ей показалось, что Септимус ушел, ведь он грозился убить себя – броситься под колеса экипажа! Но нет, сидит на скамейке в своем потрепанном плаще, скрестив ноги, смотрит в никуда, разговаривает сам с собой.

Рубить деревья нельзя. Бог есть. (Подобные откровения он записывал на обратной стороне конвертов). Измени мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет им известно... Он ждал. Слушал. На ограду уселся воробей, чирикнул раза четыре или пять «Септимус, Септимус» и разразился пронзительной, бодрой трелью на греческом о том, что преступления не существует, затем к нему присоединилась еще одна птица, и оба запели по-гречески протяжными, резкими голосами о деревьях на лугу, жизни за рекой, где бродят мертвые, и что смерти нет.

Мертвецы рядом, буквально рукой подать. За оградой собирались бледные существа, но он не решался взглянуть. За оградой стоял Эванс!

– Что ты говоришь? – внезапно спросила Реция, садясь рядом.

Снова она! Вечно мешает.

Прочь от людей – скорее прочь, сказал он себе, вскакивая, скорее туда, где скамейки под деревом и парк тянется зеленой лентой под голубым пологом неба и розовым дымом в вышине, вдалеке тает в чаду неровный вал домов, гудят огибающие парк машины, и справа над оградой зоопарка палевые звери вытягивают длинные шеи, лают, воют...

Септимус с женой присели под деревом.

– Взгляни, – умоляла Реция, указывая на ватагу мальчишек с крикетными битами, один из которых приплясывал и крутился на пятке, словно клоун в мюзик-холле.

– Взгляни, – настаивала она, ведь доктор Холмс велел обращать его внимание на реальные вещи, сходить в мюзик-холл, поиграть в крикет – именно крикет, сказал доктор Холмс, хорошая игра на свежем воздухе, самое подходящее занятие для вашего мужа.

– Взгляни, – повторила она.

Взгляни, воззвала невидимая сущность, чей голос теперь говорил с ним, величайшим из людей, Септимусом, недавно перешедшим из жизни в смерть – он Господь, явившийся для возрождения общества, который простирался подобно покрову, снежному одеялу, пронзенному солнечными лучами, козел отпущения, вечный страдалец; но он же этого не хотел, простонал Септимус, отгоняя взмахом руки вечное страдание, вечное одиночество.

– Взгляни, – повторила Реция, потому что ему не следовало разговаривать с самим собой на людях. – Ну же! – взмолилась она.

На что тут смотреть? Так, пара овец, и все.

– Как пройти к станции «Риджентс-парк»? – Мэйзи Джонсон, приехавшая из Эдинбурга всего два дня назад, хотела узнать дорогу до станции подземки «Риджентс-парк».

– Не сюда – вон туда! – воскликнула Лукреция, отмахиваясь от девушки, чтобы та не глазела на Септимуса.

Оба такие странные, подумала Мэйзи Джонсон. Все здесь очень странное. Впервые приехала в Лондон поработать у дяди на Леденхолл-стрит, а теперь идет через утренний Риджентс-парк, и от пары на скамейке у нее мурашки – дамочка похожа на иностранку, господин выглядит странно – она и в глубокой старости будет помнить, как полвека назад шла по Риджентс-парку прекрасным летним утром. Ведь ей всего девятнадцать, и она наконец добилась своего – приехала в Лондон, и теперь все так странно, особенно эта парочка, у которой она спросила дорогу, женщина вздрогнула и махнула рукой, а мужчина выглядит и вовсе не от мира сего; наверное, ссорятся или даже расстаются навсегда – что-то явно происходит; и все эти люди (девушка снова вернулась на главную аллею), каменные фонтаны, чопорные клумбы, старики и старухи, по большей части больные, в инвалидных креслах – после Эдинбурга странно все. И Мэйзи Джонсон, примкнув к медленно бредущей, рассеянно озирающейся, обдуваемой ветром компании – белки скачут и прихорашиваются, воробьи порхают и ищут крошки, собаки обнюхивают и метят ограждения, а теплый летний воздух омывает их и смягчает пристальные взгляды, которыми они встречают жизнь, придает им некую чудинку – Мэйзи Джонсон едва не расплакалась! (Потому что от молодого человека на скамье у нее мурашки. Она знает: что-то не так.)

Ей хотелось закричать: «Ужас! Ужас!» (Покинула своих близких, а ее предупреждали...) Почему я не осталась дома? – всхлипнула Мэйзи, вцепившись в шар на чугунной ограде.

Девчонка, подумала миссис Демпстер, которая часто выбиралась на ленч в Риджентс-парк и угощала корками белок, совсем не знает жизни. Лучше слегка расплыться, чуть расслабиться и не ждать от жизни слишком многого. Перси пьет. Лучше сын, чем дочь, подумала миссис Демпстер. С ним нелегко, поэтому девушка вызвала у нее невольную улыбку. Вполне симпатичная, значит, замуж выйдет, там и узнает, что к чему. Стряпня и прочие заботы. У мужей свои причуды. Как бы я поступила, знай все заранее? – задумалась миссис Демпстер, и ей захотелось шепнуть словечко Мэйзи Джонсон, почувствовать на старом морщинистом лице

благодарный поцелуй. Тяжелая выдалась жизнь. Она лишилась всего: нет теперь ни роз, ни бывлой красоты, ни ног... (Миссис Демпстер поправила культю под юбкой.)

Розы, мысленно усмехнулась она. Что за чушь! На самом деле жизнь сводится к еде, питью и поиску пары, в жизни бывает и хорошее, и плохое, а розы вовсе не главное. Вот что я скажу тебе, милочка: Кэрри Демпстер из Кентиш-тауна не променяет свой удел ни за что на свете! Впрочем, капелька сочувствия не помешала бы. Жаль, нет роз. Старушке захотелось сочувствия Мэйзи Джонсон, застывший возле клумбы с гиацинтами.

Ох уж этот самолет! Миссис Демпстер всегда мечтала повидать чужие края. У нее племянник – миссионер. Аэроплан взмыл, набирая высоту. В Маргейте она часто ходила на море, хотя далеко не заплывала, и терпеть не могла женщин, которые боятся воды. Аэроплан пронесся и рухнул вниз. У нее перехватило дыхание. Снова вверх! Миссис Демпстер побилась бы об заклад, что в кабине сидит славный молодой парнишка, и вот он уносится все дальше и дальше, исчезает вдаль, парит над Гринвичем и парусными судами на Темзе, над островком серых церквей, над собором Святого Павла, пока по обе стороны Лондона не раскинутся поля и темные, коричневые леса, где скачут по земле неутомимые дрозды, торопливо оглядываются, хватают улиток и долбят их о камень раз, другой, третий...

Аэроплан уносился все дальше и дальше, пока в небе не осталась лишь яркая искра – стремление, средоточие, символ (так казалось мистеру Бентли, энергично подстригающему газон у себя в Гринвиче) души человеческой, ее упорства, думал мистер Бентли, огибая кедр, вырваться за границы своего тела, своего дома, силой мысли, теории Эйнштейна, гипотез, математики, законов Менделеева – аэроплан несся прочь.

На ступеньках собора Святого Павла стоял невзрачный, потасканного вида мужчина с кожаным портфелем и не решался войти, потому что внутри такая благодать, такой радушный прием, столько гробниц и реющих над ними знамен, прославляющих победы не над армиями – над докучливым духом, вечно толкающим на поиски истины, думал он, в результате чего я и очутился в подобном положении; вдобавок собор предлагает компанию, приглашает вступить в сообщество, к которому принадлежат великие, ради которого шли на смерть мученики; почему бы не присоединиться, думал он, поставить набитый листовками портфель к алтарю, к кресту, к символу того, что воспарило выше любых исканий, метаний, плетения словес и стало духом – бестелесным, призрачным – почему бы не войти? – подумал он, колеблясь, и тут над Ладгейт-серкус пролетел аэроплан.

Как ни странно, летел он тихо. Сквозь шум городского транспорта не прорывалось ни звука. Казалось, никто им не управляет и аэроплан мчится сам по себе. И вот он понесся прямо вверх, взмывая все выше и выше в порыве упоения, чистого восторга, выпуская струю белого дыма, которая складывалась в буквы Т, О, Ф.

– На что все смотрят? – спросила Кларисса Дэллоуэй у открывшей дверь горничной.

В холле стояла прохлада, словно в склепе. Зашуршав юбками, Люси заперла дверь, и миссис Дэллоуэй почувствовала себя покинувшей мир монахиней, вокруг которой смыкаются привычные покровы и дух ревностного служения. На кухне посвистывала повариха. Стучала пишущая машинка. Это – ее жизнь. Нагнувшись над столиком в холле, Кларисса прониклась домашней атмосферой, ощутила благодать и чистоту, взяла блокнот с телефонными сообщениями и напомнила себе, что подобные моменты – бутоны на древе жизни, цветы мрака, прекрасная роза, что распускается лишь для ее глаз; в Бога она не верит ничуть, но тем более обязана в повседневной жизни воздавать должное слугам, собакам и канарейкам, а больше всех – своему мужу Ричарду, который и есть основа всего – веселых звуков, зеленого света, даже свиста поварихи, поскольку миссис Уокер была ирландкой и насвистывала день-деньской – нужно воздавать, черпая из этого тайного ресурса прекрасных моментов, думала она, листая блокнот, и Люси стояла рядом, пытаясь объяснить...

– Миссис Дэллоуэй...

Кларисса прочла в блокноте: «Леди Брутон желает знать, придет ли мистер Дэллоуэй к ней сегодня на ленч».

– Мэм, мистер Дэллоуэй велел передать, чтобы к ленчу его не ждали.

– О нет! – воскликнула Кларисса, и Люси разделила ее разочарование (но не досаду), ощутила их единодушие, поняла намек, подумала о том, как господа любят друг друга, преисполнилась спокойствия за свою будущность и, приняв у миссис Дэллоуэй кружевной зонтик, словно священное оружие, которое роняет богиня, проявившая себя с честью на поле брани, бережно поместила его на подставку.

– Не страшись, – повторила Кларисса. – Не страшись палящего зноя.

Потрясение, которое она испытала, услышав, что леди Брутон позвала Ричарда на ленч одного, заставило ее пошатнуться и вздрогнуть, как водоросли в реке вздрагивают от удара весла.

Миллисент Брутон, чьи ленчи слыли презабавными, ее не пригласила. Никакая пошлая ревность их с Ричардом не разлучит, однако Кларисса страшилась бега лет и читала его на лице леди Брутон, как на циферблате, высеченном из бесстрастного камня; жизнь угасает, год за годом теряя по куску, теряя способность растягиваться, впитывать, как в юности, цвет, вкус, оттенки бытия. Раньше Кларисса заполняла собой всю комнату и ощущала восхитительный трепет, стоя на пороге гостиной, словно пловец перед прыжком в морскую пучину – вода под ним темнеет и сверкает, волны грозят разверзнуться, но лишь мягко перекатываются, затухают, подергиваются рябью, осыпая водоросли жемчужными брызгами.

Кларисса положила блокнот на столик в холле и медленно поднялась по лестнице, держась за перила, словно ушла с вечеринки, где друзья поочередно отражали ее лицо и голос, захлопнула дверь, вышла и стоит в одиночестве – одинокий силуэт в жуткой ночи, точнее, под пристальным взглядом будничного июньского утра, для кого-то наполненного сиянием роз, думала она, медля у распахнутого окна на лестничной площадке (шторы хлопают, собаки лают). На фоне всеобщей суеты, ветра, пышного цветения она внезапно ощутила себя усохшей, дряхлой, безгрудой, неуместной, ненужной, бесплотной – плоть и разум подвели, ведь леди Брутон, чьи ленчи слыли презабавными, Клариссу не пригласила.

Как удалившаяся от мира монахиня или ребенок, исследующий башню, она поднялась наверх, постояла у окна, зашла в ванную. Линолеум зеленый, из крана капает. Вместо средоточия жизни – пустота, чердак. Женщинам приходится снимать свой богатый убор. В середине дня они должны разоблачаться. Кларисса воткнула булавку в подушечку и положила шляпку с желтыми перьями на постель. Чистое белье, несмятые простыни. С годами кровать становится все уже. Свеча догорела до середины – Кларисса увлеклась мемуарами барона Марбо и допоздна читала про отступление из Москвы. Заседания Палаты заканчиваются поздно, и Ричард настоял, что жене нужен спокойный сон, особенно после болезни. На самом деле читать про отступление французов ей нравилось больше, и он это знал. Комната была на чердаке, кровать – узкая. Кларисса часами лежала с книгой без сна. Засыпала она плохо, не в силах избавиться от девства, пронесенного сквозь роды, лишнего к телу, словно простыня. В юности оно придавало ей очарования, но по велению этого хладного духа она внезапно стала отвергать Ричарда. Сначала на реке среди лесов Кливдена, потом в Константинополе, снова и снова.

Кларисса понимала, чего ей не хватает. Вовсе не красоты, не ума. В ней изначально отсутствовала некая теплота, способная сломать лед между мужчиной и женщиной или между двумя женщинами. Впрочем, смутное влечение она испытывала. Кларисса возмущалась, чуралась его бог знает почему – видимо, была такой от природы (о, природа задумала все очень мудро), однако порой поддавалась очарованию зрелой женщины, отнюдь не девушки, хотя и младше нее, которая по женскому обыкновению делилась с ней подробностями какой-нибудь ссоры или безрассудной выходки. То ли из-за их красоты, то ли из жалости или чистой слу-

чайности вроде легкого аромата или мелодии скрипки (как странно на нас влияют звуки в иные моменты), Кларисса испытывала то же самое, что и мужчины. Лишь на миг, но этого вполне достаточно. Внезапное прозрение, смущение, которое тщетно пытаешься скрыть и не покраснеть, потом отдаешься ему без остатка, бросаешься к самому краю, замираешь и чувствуешь, как мир приближается, распухает от потрясающей значимости, под бременем упоительного восторга, и вот уже тонкая кожица лопается, сок брызжет и заливают необычайным облегчением все трещинки и язвы. И в этот миг все озаряется – словно подносишь огонек к закрывшему лепестки крокусу, и внутри все озаряется, становится почти различимым снаружи. Затем близость отступает, возбуждение идет на убыль. Все кончено – момент миновал. Подобные эпизоды (в том числе и с женщинами) особенно резко контрастировали с узкой кроватью, мемуарами барона Марбо и наполовину сгоревшей свечой. Лежа без сна, Кларисса слушала, как скрипит пол, как в освещенном доме внезапно гаснет свет, и раздается осторожный щелчок – Ричард тихонько открывает дверь, крадется наверх в одних носках, роняет грелку и чертыхается. До чего смешно!

А как насчет любви, думала Кларисса, убирая пальто, как насчет любви к женщинам? Взять, к примеру, отношения с Сэлли Сетон в далекой юности. В конце концов, разве это была не любовь?

Она сидела на полу – такой Клариссе запомнилась первая встреча с Сэлли – она сидела на полу, обхватив колени, и курила сигарету. Где же это было? У Маннинггов? У Кинлок-Джонсов? Наверное, на какой-то вечеринке. Кларисса спросила у своего спутника: «Это еще кто?» Тот назвал имя и добавил, что родители Сэлли не ладят (в то время Кларисса даже не представляла, что родители могут ссориться!). Весь вечер она не сводила с девушки взгляда. Больше всего ее восхитило сочетание необычайной красоты (темноволосая, глаза огромные) и раскованности, которой Кларисса была лишена и всегда завидовала – такое чувство, что Сэлли способна сказать или сделать все что угодно; подобное качество скорее присуще иностранкам, чем англичанкам. Сэлли утверждала, что в ее жилах течет кровь предка-француза, который служил при дворе Марии Антуанетты, потерял голову на гильотине и оставил потомкам кольцо с рубином. Тем летом она приехала в Бортон в гости – однажды после ужина нагрнула как снег на голову, чем ужасно расстроила бедную тетю Хелен. Родители поругались, и Сэлли в сердцах выбежала из дома буквально без гроша – пришлось заложить брошь, чтобы наскрести на дорогу. Девушки просидели за разговорами всю ночь. Именно Сэлли заставила Клариссу впервые в жизни ощутить, насколько замкнуто протекала ее жизнь в Бортоне. Она ничего не знала ни о сексе, ни о социальных проблемах. Однажды видела, как старик-крестьянин упал на поле замертво, видела коров после отела. Тетушка Хелен досужих бесед не поощряла (когда Сэлли принесла почитать Уильяма Морриса, обложку пришлось скрыть оберточной бумагой). Они часами сидели в спальне Клариссы, разговаривая о жизни и о том, как изменяет мир. Они собирались основать общество по упразднению частной собственности и даже написали обращение, хотя никуда и не отправили. Конечно, идеи принадлежали Сэлли, но вскоре ими заинтересовалась и Кларисса – перед завтраком читала Платона, увлеклась Моррисом, Шелли.

Сэлли была личностью необыкновенно одаренной во всех отношениях. Взять, к примеру, как изумительно она разбиралась в цветах. В Бортоне всегда украшали стол небольшими чопорными вазами. Сэлли вышла в сад, нарвала мальвы, георгинов – любых цветов, которые не принято ставить вместе, – срезала головки и опустила в чаши с водой. Эффект получился потрясающий, особенно на закате, когда садишься ужинать. (Разумеется, тетюшка Хелен сочла подобное обращение с цветами варварством). Или взять тот случай, когда она забыла мочалку и пробежала по коридору голой. Мрачная старуха-горничная, Эллен Аткинс, еще долго ворчала: «А ну как увидел бы кто из джентльменов?» Своими выходками Сэлли шокировала публику. Папа называл ее непутевой.

Вспоминая свое чувство к Сэлли, Кларисса поразились его чистоте и цельности. Оно не было похоже на то, что испытываешь к мужчине. Совершенно бескорыстное и окрашенное особой близостью, присущей лишь женщинам, причем недавно повзрослевшим. Вдобавок Кларисса всегда стремилась защитить подругу, ощущая родственную душу и предчувствуя близкую разлуку (в те дни обе относились к браку как к катастрофе), что породило дух рыцарства, больше присущий ей, чем Сэлли. Та вела себя крайне безрассудно, совершала глупости из чистого сумасбродства – каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Доходила до абсурда – до полного абсурда! Впрочем, следует отдать Сэлли должное, она обладала поистине неотразимым обаянием, и перед сном Кларисса не раз стояла в спальне наверху, прижимая к себе грелку с горячей водой, и шептала: «Мы с ней под одной крышей... Мы с ней под одной крышей!»

Теперь эти слова совершенно ничего не значили. Она не могла уловить даже эха прежних чувств. Зато помнила, как холодела от восторга и укладывала волосы в прическу в каком-то упоении (по мере того как Кларисса вынимала шпильки из волос, клала на туалетный столик и бралась за щетку, прежнее чувство понемногу возвращалось). За окном в вечернем розовом свете порхали грачи, она переодевалась к ужину, спешила вниз по лестнице, бежала по коридору и думала: «Умереть сейчас счел бы я высшим счастьем»². Она чувствовала то же, что и Отелло, причем столь же сильно, как и герой Шекспира, и все потому, что спускается в белом платье к ужину, где встретит Сэлли Сетон!

Та надела розовое платье из газа – разве такие бывают? В любом случае Сэлли казалась словно сотканной из воздуха, светилась, как птичка или пушинка, на миг опустившаяся на куст ежевики. Для влюбленного (что же это было, как не любовь?) нет ничего более странного, чем полное безразличие других людей. Тетушка Хелен куда-то отлучилась, папа читал газету. За столом наверняка сидел Питер Уолш, и старая мисс Каммингс, и старик Йозеф Брейткопф – бедняга приезжал каждое лето, гостил неделями и делал вид, что учит Клариссу читать по-немецки, а сам играл на рояле и распевал Брамса совершенно без голоса.

Все это было лишь фоном для Сэлли. Она стояла у камина и говорила красивым голосом, придававшим всему сказанному оттенок нежности, с папой, невольно поддавшимся ее обаянию (хотя так и не простившему ей испорченную книгу, которую Сэлли взяла почитать и забыла на террасе под дождем). Внезапно Сэлли воскликнула: «Что за нелепость сидеть дома в такую погоду!», и все отправились гулять. Питер Уолш с Йозефом Брейткопфом завели разговор о Брамсе. Кларисса с Сэлли подотстали. И тогда случился самый восхитительный момент в ее жизни! Проходя мимо каменного вазона, Сэлли сорвала цветок и поцеловала Клариссу в губы. Весь мир перевернулся с ног на голову! Все исчезли, они с Сэлли остались вдвоем. Кларисса словно получила подарок, который нельзя открывать, нельзя смотреть – бесценный бриллиант или вроде того. Пока они гуляли по саду (туда-сюда, туда-сюда), она развернула обертку или же сияние пробилось наружу – откровение, Божественное откровение! – и вдруг на них наткнулись старик Йозеф с Питером.

– Звездами любуетесь? – спросил Питер.

Все равно, что влететь в темноте с разбега в гранитную стену! Ужас, просто ужас!

Не для нее, нет. Кларисса внезапно поняла, что Сэлли третируют, обижают; она ощутила враждебность и ревность Питера, норотившего вклиниться между ними. Она поняла сразу, как видишь всю местность при вспышке молнии, а Сэлли (до чего Кларисса восхищалась ею в тот миг!) повела себя как ни в чем не бывало. Она рассмеялась, спросила старика Йозефа, как называются созвездия, и тот принялся увлеченно рассказывать. Сэлли стояла и внимала. Она слушала названия звезд.

² У. Шекспир. «Отелло». Акт II, сцена I.

«Ужас!» – твердила Кларисса про себя, словно знала: кто-нибудь обязательно прервет, омрачит миг ее счастья.

И все же впоследствии она была многим ему обязана. Всякий раз, думая о Питере Уолше, Кларисса вспоминала ссоры по разным поводам – пожалуй, ей очень хотелось его одобрения. Она позаимствовала из его лексикона слова «сентиментальный», «цивилизованный» – с них начинался каждый день, точно Питер продолжал ее направлять. Сентиментальной могла быть книга, отношение к жизни. Пожалуй, с ее стороны вспоминать о прошлом «сентиментально». Интересно, что он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Скажет вслух или промолчит? Впрочем, так и есть. За время болезни она совсем поседела.

Кладя брошь на стол, Кларисса содрогнулась, словно в нее вцепились ледяные когти. Она еще не старая! Ей едва исполнилось пятьдесят два. Впереди столько месяцев – июнь, июль, август! Как бы пытаясь поймать падающую каплю, Кларисса бросилась к зеркалу, погружаясь в самое средоточие момента, пригвождая к месту этот миг июньского утра, несущий на себе отпечаток всех других утр, оглядывая туалетный столик и флаконы так, словно видит впервые, собираясь в одну точку и рассматривая себя в зеркале, откуда глядела хрупкая, раздумывавшая женщина, у которой сегодня прием, – Кларисса Дэллоуэй, она сама.

Сколько миллионов раз она видела в зеркале свое лицо с чуть поджатыми губами! Кларисса делала так всегда, чтобы выглядеть более эффектно. Это она – демонстративная, решительная, четкая, как стрела, летящая в цель. Такой она становилась, когда не без усилий, из чувства долга собирала себя воедино из совершенно несовместимых, самых разнородных частей, и те сливались в одно целое, в сверкающий бриллиант, в хозяйку вечера, принимающую гостей, – несомненно, яркий луч света в их скучных жизнях, вероятно, утешение для одиноких. Кларисса помогала молодым, которые были ей благодарны, пыталась всегда оставаться неизменной, никогда не показывать свои недостатки – ревность, тщеславие, мнительность – вот как сейчас, с леди Брутон, не пригласившей ее на ленч. До чего подло, думала Кларисса, расчесывая волосы. Так, где же платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Погрузив руку в ворох тонких тканей, Кларисса аккуратно достала зеленое и отнесла к окну. При искусственном освещении платье буквально сияло, но при дневном поблекло. Слегка порвалось – на приеме в посольстве ей наступили на подол, нитки затрещали. Придется чинить самой, ведь горничные слишком заняты. Она наденет его сегодня. Возьмет шелковые нитки, ножницы – что еще? – наперсток, конечно, и пойдет в гостиную, потому что нужно кое-что написать и проследить, чтобы все было более-менее в порядке.

Странно, подумала Кларисса, медля на лестничной площадке и входя в образ сверкающего бриллианта, вновь становясь цельной, странно, как хозяйка умеет выбрать нужный момент и до чего хорошо знает свой дом! Снизу доносились слабые отзвуки приготовлений – шуршит швабра, стучат в дверь, открывают и что-то говорят, потом передают поручение тем, кто в подвале; дребезжит на подносе серебро, которое чистят к приему. Все для приема!

(Люси, войдя в гостиную с подносом на вытянутых руках, поставила на каминную полку огромные канделябры, между ними – серебряную шкатулку, а хрустального дельфина повернула к часам. Гости придут, встанут, будут говорить так учтиво, что и послушать приятно, как настоящие леди и джентльмены. И ее госпожа – прекраснее всех, госпожа столового серебра, льняных скатертей, тонкого фарфора, ведь пока Люси клала нож для разрезания бумаги на инкрустированный столик, солнце, серебро, снятые с петель двери, посыльные от Румпельмайера давали ей почувствовать, что и сама она добилась чего-то особенного. Вот, глядите! – воскликнула Люси, обращаясь к старым подругам из булочной в Кейтрэме, где начинала служить, и украдкой взглянула в зеркало. Теперь она – леди Анджела, прислуживающая принцессе Мэри, и тут в комнату вошла миссис Дэллоуэй.)

– Ах, Люси, серебро так и блестит! Кстати, вчерашний спектакль понравился? – поинтересовалась она, поправляя хрустального дельфина.

– Им пришлось уйти пораньше, чтобы вернуться к десяти! – воскликнула Люси. – Они и не знают, чем закончилось!

– Надо же, как не повезло, – отозвалась Кларисса (ее слугам разрешалось задерживаться, если предупредят). – Даже обидно, – добавила она, взяла с дивана старую, потертую подушку, с нажимом вручила Люси и воскликнула: – Бери! Передай миссис Уокер с моими наилучшими пожеланиями! Бери!

Люси помедлила у двери, обняв подушку, и робко вызвалась, слегка покраснев, помочь с починкой платья. Но миссис Дэллоуэй сказала, что у горничной и без того полно забот, и заверила, что справится сама.

– Спасибо, что предложила, Люси, спасибо, – проговорила миссис Дэллоуэй, спасибо, спасибо, повторяла она (садясь на диван с платьем в руках, с ножницами, с нитками), спасибо, спасибо, твердила она, благодарная слугам за то, что помогают ей быть такой, как она хочет, кроткой, великодушной. Слуги ее любят. И это платье... где же оно порвалось? И нитку в иголку вдевать... Платье было любимое, сшитое у Сэлли Паркер, одно из последних – увы, Сэлли отошла от дел, живет в Илинге, а я так и не собралась ее навестить, подумала Кларисса (ни минутки свободной!), надо съездить в Илинг. Таких мастериц, как Сэлли, еще поискать. Вечно что-нибудь придумывала эдакое, и все же ее платье не смотрелось эксцентрично. Хоть в Хэтфилде носи, хоть на приеме в Букингемском дворце. Кларисса и надевала их и туда, и туда.

На нее снизошел покой, умиротворение, безмятежность – она плавно собрала ткань на иголку, совместила зеленые складки и легкими стежками пришила к поясу. Так волны в летний день поднимаются, замирают и опадают, поднимаются и опадают, и мир словно говорит: «Вот и все», с каждым разом более весомо, пока сердце в груди того, кто лежит на солнечном пляже, тоже не скажет: «Вот и все». Не страшись, вторит сердце. Не страшись, твердит сердце, отдавая свою ношу морю, которое в унисон вздыхает о всех печалях и возрождается, – волны вздымаются, замирают, обрушиваются вновь. И одинокий человек слушает, как пролетает пчела, разбивается волна, заливиисто лает собака вдалеке...

– Боже мой, в дверь звонят! – взволнованно воскликнула Кларисса, закрепив нить, и прислушалась.

– Миссис Дэллоуэй меня примет, – сказал пожилой мужчина в холле. – Да, меня-то она примет, – повторил он, мягко отстранив Люси, и стремительно ринулся к лестнице. – Да-да-да! – пробормотал он, взбегая вверх. – После пяти лет в Индии Кларисса точно меня примет.

– Что за... кто за... – начала миссис Дэллоуэй (до чего возмутительно врываться в одиннадцать утра накануне приема!), заслышав шаги на лестнице. Постучали. Кларисса торопливо попыталась спрятать платье, защищая право на частную жизнь, словно девица целомудрие. Медная ручка повернулась. И вот дверь открывается, и в комнату входит... Сначала она даже не смогла вспомнить, как его зовут! – настолько удивилась, потом обрадовалась, засмузилась, опешила при виде Питера Уолша, явившегося поутру совершенно неожиданно. (Его писем она не читала.)

– Как поживаешь? – спросил Питер Уолш с явным трепетом, целуя ей руки. Постарела, подумал он, усаживаясь. Говорить не стану, решил он, потому что действительно постарела. Смотрит на меня, внезапно смутился он, хотя руки я поцеловал. Он полез в карман, достал большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Ничуть не изменился, подумала Кларисса, все тот же странный взгляд, все тот же клетчатый костюм. Разве что лицо немного другое – чуть похудело, чуть усохло, но впечатление производит на удивление хорошее.

– Чудесно, что ты пришел! – воскликнула она.

Снова вертит в руках нож, как это похоже на Питера!

Вернулся в город ночью, сообщил Питер, нужно немедленно ехать в поместье. А как у нее дела, как домашние – Ричард? Элизабет?

– Это еще что? – поинтересовался он, указав ножом на зеленое платье.

Одет с иголки, думала Кларисса, и как всегда меня критикует.

Сидит и чинит платье, так и просидела тут все время, пока я был в Индии, чинила платье, веселилась, ходила на приемы, бегала в Парламент и все в таком духе, думал он, раздражаясь и накручивая себя все больше, словно для иных женщин нет ничего хуже, чем брак и политика, особенно если муж – консерватор, как несравненный Ричард! Так и есть, так и есть, думал он, с шелчком закрывая нож.

– У Ричарда все прекрасно. Ричард на заседании комитета, – сказала Кларисса.

Открыв ножницы, она спросила, позволит ли он ей закончить платье, ведь сегодня у них прием.

– И тебя я на него не позову, мой милый Питер!

Как заманчиво слышать из ее уст – мой милый Питер! Да тут заманчиво все – серебро, стулья – весьма заманчиво!

– Отчего же не позвать? – осведомился он.

Конечно, подумала Кларисса, он очарователен – просто очарователен! Теперь вспоминаю, как невообразимо сложно было решиться – и почему я не вышла за него замуж? – тем ужасным летом.

– До чего невероятно, что ты пришел именно сегодня! – вскричала она, сложив руки в замок. – А помнишь, как в Бордоне шторы хлопали на ветру?

– Еще бы, – ответил Питер и вспомнил, как неловко было завтракать вдвоем с ее отцом, который умер, а он так и не написал Клариссе... Впрочем, они не особо ладили со стариком Перри – ворчливым, малодушным стариком, отцом Клариссы, Джастином Перри.

– Я часто жалею, что не столкнулся с твоим отцом, – признался Питер.

– Ему же не нравился никто – то есть никто из наших друзей, – сказала Кларисса и едва не прикусила язык, ведь таким образом она невольно напомнила Питеру, что тот хотел на ней жениться.

Конечно хотел, подумал Питер, и это почти разбило мне сердце. На него нахлынула печаль, поднявшаяся словно луна над террасой – призрачно красивая в свете угасающего дня. Я несчастлив как никогда, подумал он и придвинулся к Клариссе, точно они и впрямь сидят на террасе, протянул руку и безвольно уронил. Так она и висела над ними неподвижно, эта луна. Кларисса тоже словно очутилась с ним на террасе, в лунном сиянии.

– Теперь там хозяин Герберт, – проговорила она. – Я туда больше не езжу.

И тогда, как бывает, когда сидишь на террасе в лунном свете, одному становится стыдно за свою скуку, а другой сидит молча, очень тихо, печально глядя на луну, не хочет разговаривать, и первый шевелит ногой, прочищает горло, замечает какой-нибудь завиток на кованой ножке стола, шуршит сухим листком и не говорит ничего – так поступил и Питер Уолш теперь. Зачем возвращаться в прошлое? Зачем снова об этом думать? Зачем его мучить, разве она мало его терзала? Зачем?

– Помнишь озеро? – резко спросила Кларисса, у которой от наплыва чувств защемило сердце, мышцы сковало спазмом, горло перехватило. Ведь одновременно она была и дитя, что кидает уткам хлеб, стоя между родителей, и взрослая женщина, что идет к родителям, застывшим у озера, и несет свою жизнь в руках; и чем ближе она подходит, тем больше та разрастается, пока не принимает законченную форму, и тогда Кларисса кладет ее перед ними и говорит: «Смотрите, что у меня получилось! Вот!» И что же у нее получилось? В самом деле, что? Сидит поутру и шьет рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Исполненный сомнений взгляд пронзил время и чувства, печально уселся, потом вспорхнул и улетел прочь, словно птичка с ветки. Кларисса утерла слезы.

– Да, – ответил Питер. – Да, да, да! – воскликнул он, словно Кларисса вытащила занозу, давно причинявшую боль, и встал. Прекрати, прекрати! – хотелось ему вскричать. Ведь он еще не стар, жизнь вовсе не кончена, ни в коем случае. Ему лишь слегка за пятьдесят. Сказать, подумал он, или нет? Ему хотелось выложить все начистоту. Однако Кларисса слишком холодна, сидит тут со своим шитьем, с ножницами. Дэйзи рядом с ней смотрелась бы весьма прозаично. Сочтет меня неудачником, подумал он, в глазах семейства Дэллоуэй я стану неудачником. Он ничуть не сомневался, что так и есть – на фоне инкрустированного столика, ножа для бумаг, дельфина и канделябров, чехлов на креслах и старинных английских гравюр он – неудачник! Ненавижу чванство, подумал он, это все Ричард, Кларисса ни при чем, хотя и вышла за него замуж. (В комнату вошла Люси с серебром, снова серебро, впрочем, она очаровательна, стройна, грациозна, подумал он, когда та нагнулась и поставила поднос). И так продолжается из года в год, думал Питер Уолш, неделю за неделей, вот и вся жизнь Клариссы, в то время как я... Внезапно перед его мысленным взором пронеслись поездки, прогулки верхом, ссоры, приключения, партии в бридж, любовные интрижки, работа-работа-работа! Питер достал из кармана свой нож – старый нож с роговой рукояткой, который, Кларисса могла поклясться, был у него лет тридцать – и сжал в кулаке.

Что за странная привычка, подумала Кларисса, играть с ножом. Выглядит весьма легкомысленно, выставляет себя пустоголовым болтуном, как всегда. Но ведь и я такая же – снова взялась за шитье... И словно королева, чья стража уснула, оставив ее без защиты (внезапный визит Питера выбил Клариссу из колеи), и любой мог войти, увидеть ее лежащей в зарослях ежевики, Кларисса призвала на помощь все, что сделала в жизни, все, что любила, – своего мужа, Элизабет, себя новую, которую Питер едва ли знает, – призвала прийти и дать врагу отпор!

– Ну и что у тебя происходит? – спросила Кларисса. Прежде чем начнется битва, лошади бьют землю копытом, мотают головой, блестят боками, изящно выгибают шеи. Так и Питер Уолш с Клариссой, сидя рядом на синем диване, бросали друг другу вызов. Питер вскипел, перебирая свои достижения и достоинства. Он черпал силу из разных источников – всевозможные заслуги, карьера в Оксфорде, брак, о котором Кларисса не знает ничего, любовь к Дэйзи, жизненные успехи в целом.

– Да уйма всего! – воскликнул Питер и поднес руки к вискам, подгоняемый бушующей в нем силой, которая металась туда-сюда, одновременно пугая и наполняя безудержным восторгом, словно невидимая толпа подхватила его на плечи и несет.

Кларисса села очень прямо и затаила дыхание.

– Я влюблен, – признался Питер, только не ей – поднявшейся из тьмы тени, которой не смеешь коснуться, но знаешь, что должен положить к ее ногам венок.

– Влюблен, – сухо повторил он, теперь обращаясь к Клариссе Дэллоуэй, – влюблен в женщину из Индии.

Венок возложен. Пусть Кларисса делает с ним все что угодно.

– Влюблен! – пробормотала Кларисса, бросив на Питера беглый взгляд. В его-то годы сгинуть в пасти этого чудовища! Галстук-бабочка болтается на тощей шее, руки красные, да еще на полгода меня старше, а туда же! Сердцем она почуяла, что он и в самом деле влюблен.

Однако неукротимый эгоизм, который влечет нас навстречу гибели, бурлящий поток, не знающий ни преград, ни цели, словом, неукротимый эгоизм залил ее щеки краской. Позабыв про недочиненное платье, Кларисса зарделась и помолодела, глаза заблестели, иголка в складках зеленого шелка слегка подрагивала. Питер влюблен! И не в нее... Разумеется, в какую-нибудь молодую женщину.

– И в кого же? – осведомилась она.

Пора снять эту статую с пьедестала и поставить между ними.

– Увы, она замужем, – признался он, – жена майора из Индии.

Питер улыбнулся с ироничной нежностью, представляя свою женщину Клариссе столь нелепым образом. (И все-таки влюблен, подумала Кларисса.)

– У нее, – добавил он весьма рассудительно, – двое маленьких детей, мальчик и девочка. Я приехал обсудить развод с адвокатом.

Вот они, подумал Питер. Делай с ними, что захочешь, Кларисса! Вот они! И с каждым мигом ему казалось, что под взглядом Клариссы жена майора из Индии (его Дэйзи) и ее маленькие дети становились все милее, словно он поджег серую гранулу, и на освежающем соленом воздухе их близости (ведь так или иначе, кроме Клариссы, никто его так не понимал и не сопереживал ему) – их изысканной близости – выросло прелестное деревце.

Тешила самолюбие, вскружила голову, думала Кларисса, парой взмахов ножа придав очертания незнакомке, жене майора из Индии. Что за ерунда! Что за дурость! Подобным образом Питера морочат всю жизнь – вылетел из Оксфорда, женился на девице, подцепившей его на пароходе по пути в Индию, теперь вот жена майора, тоже из Индии – слава небесам, что Кларисса ему отказала! И все же он влюблен, ее старый друг, милый Питер, влюблен.

– Что будешь делать? – спросила она.

Всем займутся адвокаты и поверенные, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнс-Инн», они все берут на себя, сказал Питер и принялся подрезать ногти перочинным ножом.

Ради всего святого, оставь свой нож в покое! – вскипела про себя Кларисса. Как ее всегда раздражала в нем дурацкая эксцентричность, малодушие, полное небрежение чувствами другого человека – к тому же теперь, в его-то годы! До чего глупо!

Все это я знаю, думал Питер. Знаю, что мне придется вытерпеть, подумал он, проводя пальцем по лезвию ножа, от Клариссы с мужем и всех остальных, но я покажу Клариссе... И вдруг, к безмерному удивлению, неподвластные ему силы внезапно схлынули, швырнули его оземь, и Питер разрыдался – плакал и плакал без тени стыда, сидя на диване, и слезы катились по щекам.

Кларисса взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала – на самом деле она ощутила прикосновение щеки Питера к своей прежде, чем ей удалось унять трепет в груди – словно серебряные плюмажи пампасной травы взметнулись на шквалистом ветру. Все стихло, она сидела, держа Питера за руку, похлопывая по колену и чувствуя себя рядом с ним необычайно беззаботно и непринужденно, и вдруг отчетливо поняла: если бы я вышла за него, это удовольствие могло быть моим каждый день!

Для нее все кончено. Простыня не смята, кровать узкая. Кларисса укрылась от солнечного света в своей башне, оставив их собирать ежевику. Дверь захлопнулась, всюду осыпается штукатурка, сор из птичьих гнезд, и все кажется таким маленьким, звуки доносятся ослабевшие и унылые (ей вспомнилась вершина Лейт-Хилл), и – Ричард, Ричард! – безмолвно вскричала она, словно посреди ночи, когда резко проснулся и в темноте протягиваешь руку, ища помощи. На ленче у леди Брутон, вспомнила она. Муж меня покинул, я осталась одна навсегда, подумала Кларисса, складывая руки на коленях.

Питер Уолш ушел к окну и отвернулся, возясь с носовым платком. Такой подтянутый, сдержанный и хмурый, пиджак на худых лопатках чуть топорщился... Питер громко высморкался. Возьми меня с собой, дернулась было Кларисса, словно он собирался в дальнее путешествие, но в следующий миг, как бывает в театре, когда увлекательная и трогающая за душу пьеса подходит к концу – Кларисса убежала с Питером, прожила с ним целую жизнь – порыв миновал. Представление окончено, женщина берет свои вещи – пальто, перчатки, театральный бинокль – и выходит на улицу. Так и Кларисса поднялась с дивана и подошла к Питеру.

До чего странно, подумал он под шорох платья и стук каблучков, что она по-прежнему способна заставить сиять в летнем небе ненавистную луну с террасы Бортона.

– Скажи мне, – начал он, взяв ее за плечи. – Ты счастлива, Кларисса? Ричард тебя...

Распахнулась дверь.

– Вот и моя Элизабет! – воскликнула Кларисса, слегка переигрывая.

– Как дела? – спросила та, подходя к ним.

Удар Биг-Бена, отбивающего половину часа, вонзился между ними с необычайной мощностью, словно бьет гантелями друг о друга усердный, равнодушный, бесцеремонный молодой человек.

– Привет, Элизабет! – бросил Питер, поспешно сунув платок в карман, и добавил, не глядя: «Прощай, Кларисса», быстро вышел из гостиной, сбежал вниз по лестнице и открыл входную дверь.

– Питер! Питер! – окликнула Кларисса, спускаясь вслед за ним на лестничную площадку. – Мой прием – сегодня! Помни про мой прием! – надрывалась она, силясь перекричать шум транспорта с улицы и бой всех часов в доме.

На общем фоне голос Клариссы показался Питеру Уолшу слабым и очень далеким.

Помни про мой прием, помни про мой прием, ритмично вторил Питер Уолш ударам Биг-Бена, выходя на улицу. (В воздухе расходились свинцовые круги.) Ох уж эти приемы, подумал он, приемы у Клариссы. Зачем она вообще их устраивает? Он особо не винил ни ее, ни джентльмена с гвоздикой в петлице фрака, шагающего ему навстречу. Лишь один человек на свете влюблен по-настоящему. И этот счастливчик отразился в зеркальной витрине автомобильного салона на Виктория-стрит. За его плечами – вся Индия с горами и равнинами, с эпидемией холеры; округ по размеру как две Ирландии, и все решения приходится принимать в одиночку – он, Питер Уолш, впервые в жизни влюбился по-настоящему. Кларисса ожесточилась, к тому же стала сентиментальной, как он подозревал, заглядываясь на великолепные авто – интересно, сколько миль они могут проделать и на скольких галлонах? Кларисса не имеет ни малейшего понятия, что он увлекся механикой, внедрил у себя в округе культиватор, выписал из Англии несколько тачек, пусть кули ими и не пользовались.

То, как она произнесла фразу «Вот и моя Элизабет!», раздражало. Почему бы просто не сказать: «Вот Элизабет»? Прозвучало неискренне. И Элизабет тоже передернуло. (Последние отзвуки громогласного звона все еще колыхали воздух – пробило половину часа, слишком рано, только половина двенадцатого.) Молодежь он понимает, молодежь ему нравится. Кларисса всегда была слегка холодной, подумал он. Даже в юности в ней чувствовалась некая зажатость, которая в зрелые годы переходит в полное подчинение условностям, и тогда все пропало, все пропало, думал Питер, мрачно вглядываясь в стеклянные глубины и гадая, не рассердил ли ее ранним визитом. Внезапно его охватил стыд – свалял такого дурака, плакал, поддался эмоциям, рассказал ей обо всем – в который раз, в который раз!..

Как на солнце находит туча, так на Лондон опускается тишина и заполняет душу. Напряжение спадает. Время застывает. Мы умолкаем, останавливаемся. Тело человека удерживает лишь скелет привычки. Внутри ничего не осталось, сказал себе Питер Уолш, чувствуя опустошение, абсолютную пустоту внутри. Кларисса мне отказала, вспомнил он. Кларисса мне отказала.

А, сказала церковь Святой Маргариты тоном хозяйки, что входит в гостиную с ударом часов и видит: гости уже собрались. Я вовсе не опоздала. Сейчас ровно половина двенадцатого. И все же, пусть она и совершенно права, истинная хозяйка вовсе не стремится навязывать свое мнение. В ее голосе звучит печаль о прошлом, тревога о настоящем. Половина двенадцатого, говорит она, и звон колоколов Святой Маргариты проникает в сокровенные глубины сердца, свивается кольцами, словно живое существо, которое хочет довериться, раствориться в тебе,

дрожа от восторга, обрести покой – так и Кларисса в белом платье, подумал Питер Уолш, спускается по лестнице с ударом часов. Это же Кларисса, подумал он в глубоком волнении и с изумительной ясностью, внезапно вспомнив о ней, будто звон колокола раздался много лет назад, застав их в комнате в миг особой, невероятной близости, прогудел медоносной пчелой от одного к другому и улетел, преисполнившись важности момента. Но что за комната? Что за миг? И почему он так искренне обрадовался, когда пробили часы? Звон Святой Маргариты постепенно затих, и Питер подумал: ведь она недавно болела, и звук выразил немочь, страдание. У нее плохо с сердцем, вспомнил он, и внезапно громкость последнего удара отозвалась похоронным звоном – Кларисса упала замертво посреди гостиной. Нет! Нет! – вскричал Питер. – Она не мертва! Я не стар! – вскричал он и ринулся по Уайт-холлу так, словно навстречу ему несло будущее, насыщенное и бесконечное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.